

*Святой правдой торгуют,
Цепь на цепь меняют,*

.....

*В ярмо запрягают
Человека.*

*Пахут горе,
Бедой засевают...
Что ж вырастет?*

Тарас Шевченко

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СРЕДИ РАСТЕНИЙ
И ДИКИХ ТРАВ

I

ДНЕВНИК В БЕСПОРЯДКЕ

Время протекает вот здесь, через эту руку с острыми ногтями, через эту маленькую птичью лапку, которую я так ненавидела. Почему ненависть тоже увядает? Ненависть была свежей и терпкой — такими бывают иные фрукты. Рука, само собой разумеется, старая, но пальцы, тщательно чистящие абрикосы, не дрожат. Я всегда была для нее как твердый, покрытый кожей абрикос, набивающий оскомину, но и приятный на вкус, отличающийся какой-то простодушной жестокостью. В то далекое время она решала, что правильно и что неправильно — как в поведении за столом, так и в судьбе, которую она мне предназначила. Но однажды она подцепила на кончик ножа несколько корнишонов в уксусе и съела их. Гигиеничная, непреклонная, подлая и олимпийски спокойная. Я помню ее железный ножик, остроконечный и истершийся от постоянного употребления, более тонкий, чем наваха; я помню, как я нарушала ее кодексы, ее

приказы, ее закон. И сейчас я снова вижу ее, и она все время кажется мне такой же, как прежде, — она кажется мне олицетворенным преступлением.

В этот теплый июньский вечер она чистит абрикосы. Она опрятна и жестока, и я не знаю, правильно или неправильно то, что она делает. Только мое присутствие похоже на зрелище того, как обрывают лепестки с первоцвета. Через несколько дней будет праздноваться приснопамятный, необыкновенный день, когда она издала свой первый (и, возможно, последний) крик на земле: ведь она — это то единственное, что существует воистину и осязаемо.

Иногда — вот, например, сейчас — я спрашиваю себя, верно ли то, что жива только она и что она растягивает до бесконечности время десерта накануне своего высокотожественного чествования. Ведь ее чествование — это то единственное и несомненное, что заставляет нас собираться в этом доме, на этом острове, в глубине этого острова.

Каким образом удалось ей добиться этого? С помощью какой хитрости она объединяет нас, таких разных, живущих так далеко друг от друга, только потому, что она готовится отпраздновать решающий год, необычайный, саркастический год, которым она угрожает нам... с какого времени?.. Не знаю. У нее нет возраста, она — само время. Она всегда одинакова, живая и смертная, она — вечный парадокс. Белая волна уже не поднимается над ее лбом. Прошло много времени с тех пор, как я не видела и не слышала ее, и вдруг

расстояние исчезло, она завладела всем безраздельно: мир — это она. Я не видела, как она старилась, но я знаю, что прошло много времени, много лет после того года, когда я видела ее в последний раз.

Постареть она должна неизбежно. Пусть даже незаметно для взгляда, как деревья. Смерть поползет по ее артериям и доберется однажды до ее серых глаз, хотя бы как вызов или как обещание в форме эпиграммы. Надо сказать ей: «Ты не изменилась, для тебя не существует времени». И это правда. Календарь, движение Солнца и Луны, равноденствия и солнцестояния не имеют для нее никакого значения. И так же не имеют они для нее значения в этот великий день, за двенадцать месяцев до ее настоящего столетнего юбилея. И не будут они иметь для нее значения и через восемь дней, когда она насладится чревоугодием на своем девяностодевятилетии, когда все мы будем присутствовать на этом очередном дне рождения, полном иронии и насмешки, словно под бичом откровенного и меланхолического издевательства. Ведь грусть — я начинаю называть ее меланхолией — никогда не покидала ее, грусть была в ней с первого дня, когда я ее увидела. Помнится, иногда (это было в то время, когда я уже старилась) презрительное выражение ее лица превращалось в обыкновенную грусть. Быть может, это и было таинственной причиной того, что ненависть моя иссыхала.

Никто не знает так, как я, почему она празднует свой столетний юбилей на год раньше. («Надо поторо-

пить время: если я буду ждать празднования моего столетия, оно не состоится».) Мне известен ход ее мыслей, потому что она не представляет собой загадки, она для меня словно пустая рюмка. Она знает, что жизнь капризна, жестока и что она губит радость. Она боится, что настоящего столетнего юбилея не будет. Что великий каприз унесет его в пышное и жалкое место, где застывшие мертвецы ждут воспоминания, слова, способного мгновенно возродить их, — одного слова среди пустых и чужих фраз. Слова, которого они не услышали бы, даже если бы и воскресли.

Сидя на портативном кресле (не в кресле для инвалидов — это слово ей не нравится; это просто портативное кресло — как пишущая машинка или трансистор), она еще раз восторгается над нами, над ныне здравствующими и над умершими: над дядей Альваро, над Хорхе де Сон Махор, над Великим дедушкой, над моей матерью... Мы вырастаем, мы увядаем, умираем. Она торжествует, спокойная и победоносная, не удивляясь и не радуясь, не прикидываясь здоровой. Она торжествует, потому что торжествовала всегда: в момент своего появления на свет, в молодости, в старости. Потому что ее слова влекут за собой безмолвие — так за кораблями тянется пенный шлейф, сопровождаемый акулами, поджидающими объедки, выбрасываемые за борт поваренком. Она обладает даром создавать безмолвие, заставляя его бить ключом. Она вызывает смятение, недоверие, страх, восхищение, ненависть... Все равно, как это ни назвать.

Прежде всего она вызывает безмолвие. Поплатится тот, кто заговорит после того, как она скажет свое слово, пусть даже он задаст вопрос. Она внушает ужас своей всевластностью.

И пройдет этот день рождения, и, возможно, без особых трудностей доживет она и до ста лет. Может быть, внимательно наблюдая за ней сквозь разговор, который она вяло поддерживает, я смогу обнаружить червоточину. Сидя на своем месте за столом — на своем постоянном *месте*, — я молчу и как будто возвращаюсь в мое погибшее детство. Я смотрю на нее и молчу, как в то далекое время, когда она упрекала меня в двух прегрешениях. И сейчас я слышу то же самое: «Никто не обращает на меня внимания, никто обо мне не вспоминает». За этим мирным и, безусловно, сердечным семейным ужином, глядя, как она пожирает нежные золотые абрикосы, — я ведь присутствую на церемонии ее нескончаемого десерта, — я обнаружу червоточину.

Но червоточина появилась не с течением времени. Так же как и грусть (или меланхолия), она существовала всегда. Она здесь, в этой толстой колонне, возвышающейся среди развалин, обвиваемой дикими травами и обрывками плюща и пережившей их всех — первоцвет за первоцветом, абрикос за абрикосом, яблоко за яблоком. Я представляю себе эту колонну среди зимы: ее бесстыдную и холодную наготу, изъеденную дождями, оскверненную давнишними надписями испорченных мальчишек, зачем-то охваченную

каркасами листьев, колючими ростками, вьющимися призраками цветов. В другое время...

Никогда не даст она понять, что чувствует себя побежденной — ни старостью, ни смертью своих родственников, ни смертью своих врагов, ни рождениями, которые более или менее законно могли бы нести в себе ее кровь. Она похожа на вечную насмешку над жизнью и смертью. Это сидячее оскорбление, лишенное страха перед жизнью и перед смертью. Она содрогается при мысли о том, что отказывается от страданий, — она, иррациональная и бесстрашная, крупная землевладелица, зрительница развалин и пепла, окружающих ее упрямое тело. Она — невредимый созерцатель эфемерного царства: голубых колокольчиков, бугамбиллий, этих смиренных пенистых головок хмеля. Всю жизнь она тиранила окружающих, умиротворяя их соблазнительным обещанием, что умрет. Всякий раз, когда воцарялось ее нерушимое безмолвие, она как бы говорила (сейчас я думаю о тебе, Борха): «Терпение, спокойствие. В конце концов настанет день, когда я умру».

Она покончила с абрикосами, и влажные косточки блестят на блюде, как темные глаза девочки. Мне вспоминается гравюра, изображавшая святую Лусию, — в былые времена она наводила на меня тоску. Антония мягко откатывает от стола передвижное кресло и перевозит его в маленькую гостиную, где дымится кофе. Никакого режима в еде она не соблюдает и не ощущает никакого неудобства, не считая того, что она

не может — я подозреваю, что, скорее всего, просто не хочет, — ходить на своих крошечных распухших ногах.

Ее чашка, черная и полная, насмехается над бледным настоем ромашки для тети Эмилии, покорившейся диете и запретам. Тетя Эмилия уже воздерживается — она совсем дряхлая, как выцветший плащ, брошенный на ковер, — от немногочисленных и жалких наслаждений, которые приносит с собой старость: от обжорства, от алчности, от лени... Может быть, лень для нее еще осталась. Но раньше она говорила мне, что страдает бессонницей. Это не слишком щедрая награда для такого покорного и обездоленного существа. Тетя Эмилия боязливо прихлебывает, дотрагиваясь губами только до края чашечки, потому что (я прекрасно это помню) она не выносит чересчур горячих напитков. (О, эта бутылка с коньяком, эта красная хрустальная рюмка, которые ты хранила в комодке в своей комнате! Это несправедливо: ты заплатила за это столь дорогой ценой, в то время как она, главный дегустатор, отличается завидным здоровьем.) Несправедливость на несправедливости: этот дом по-прежнему строится на произвольном разграничении добра и зла, которое ему присуще. Я чувствую, как во мне растет злоба — несправедливость продолжается, потому что ненависть уже угасла — на тетю Эмилию. Увядшая белокурая кукла, которой хотелось бы превратиться в тихую сластену-бабушку из числа тех, что носят в кармане карамельки и спят над газетой. Но жизнь прошла быстро, и она все отрицает, что могла

бы сделать эту жизнь скромной и счастливой, даже принимая во внимание ее сиротство. Это была бы пухлая и бодрая бабуся с еще прекрасной кожей, напоминающей желтоватый бархат, с мягкими, отвисшими около жадного, чувственного рта буржуазки щеками. Она дарила бы велосипеды во время экзаменов и рассказывала бы про Репунцеля (единственную сказку, которую она знала). Но вот она сидит здесь, без внуков, без кофе, без сладкого, без коньяка, без анисовой водки «Мари Бризар». Без сигарет, но в очках, но с бессонницей. Тело ее бултыхается, как платье на вешалке. Она сохраняет только свое вечное согласие на все. День за днем она свыкается со своим чересчур мягким характером, со своим ограниченным кругозором, со своей крайней снисходительностью к сыну — моту и холостяку. Свыкается год за годом, с полным отсутствием энергии, которая помогла бы ей поддерживать достоинство — достоинство вдовы национального героя.

У меня такое впечатление, что ее муж сердито смотрит на нее с фотографии, которая раньше пугала меня. Я думаю, что мужчины вроде дяди Альваро рождаются затем, чтобы умереть насильственной смертью. На его худощавом лице длинный рубец, в глазах упрямо застыла суровая и никому не подвластная мысль. В детстве он казался мне далеким и таинственным. Сейчас с этого старого портрета, стоящего на обычном месте, на столике, смотрит на меня банальное, лишенное всякой загадочности лицо. Его главное

оправдание — у него почти не было денег. Этот человек, о жестоких добродетелях которого (как военных, так и гражданских) я всегда слышала, был наполовину разорен. По-видимому (хотя в то время никто мне об этом не говорил), он очень любил играть в покер. Теперь я знаю, от кого унаследовал Борха эту страсть и слабость. Борха, дорогой мой, ты веселился, проматывая остатки унаследованного тобой состояния во время твоего не слишком достойного — будем откровенны — сиротства. Борха, ты тоже не изменился. Но ах! Этот человек, *который приказал расстрелять всех, кого хотел*, — существовал ли он когда-нибудь?.. Верно то, что он умер, не изменив самому себе. На земле (иначе и быть не могло) и у ворот Теруэля. В отличие от его жизни, в его смерти не было ничего страшного. Смерть его оказалась естественной и разумной. Если говорить правду, его смерть отнюдь не была насильственной. Я не верю, что он не стал носить ордена, хотя и получил их. Очевидно, за исключением игры и ради игры, он был умерен, почти скуп. Сейчас, на портрете, он кажется лишь разочарованным. Как если бы не выиграла последняя карта, на которую он надеялся. Сегодня вечером я произвожу проверку и еще могу восстановить в памяти безмолвие, обрушившееся после его смерти на заклады, долги и нужду. На тетю Эмилию, повиновавшуюся хитроумному порядку, в котором она растворялась: она не должна была знать ни о чем. Казалось, такова была ее миссия в этой жизни. Быть — ей это подходило — глупой, доб-